



# Оглавление

Часть первая

*Имя*

9

Часть вторая

*Промысл*

57

Часть третья

*Деяние*

157

Часть четвертая

*Жертва*

241



Хрипунову плевать было на людей.  
Хрипунов хотел стать Богом.  
Что нужно человеку, решившему  
стать Богом?  
Имя.  
Промысл.  
Деяние.  
Жертва.  
Все это было у Хрипунова.  
И он стал Богом.  
Он. Им. Стал.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*Имя*



*Иглы. Искривленные режущие с тонким лезвием. Искривленные реверсивные режущие. Полукруглые режущие, суживающиеся к концу. Сверхизогнутые режущие. Режущие, суживающиеся к концу “грубые” в виде рыболовного крючка. Прецизионные, реверсивные режущие изогнутые. Прямые режущие. Троякарные полукруглые “грубые”*

**А**ркадий Хрипунов — это звучало, как будто кто-то раздавил в кулаке грецкие орехи. Хорошо это звучало — Хейман Штейнталь наверняка остался бы доволен, если бы, конечно, хрипуновская мама была способна произнести слово “ономатопоэтическая”. Но она, слава богу, была не способна — она родилась счастливой и умерла счастливой, всю жизнь мирно проносив в немудреной крови неведомую генетическую червоточину.

Ей повезло.



Хрипунову — нет.

Вообще-то, хрипуновский папа хотел назвать сына Ванюшкой. Хрипуновская мама не возражала — она была внучкой, дочкой и женой заводских алкоголиков, это, знаете ли, больше, чем психология, — это судьба. И быть бы Хрипунову банальным Иваном, жить в бараке, пить беленькую, загибаться на заводе да укачивать на ночь каменистой ладонью застарелый злой цирроз, если бы не два человека — Аркадий Гайдар и Хасан ибн Саббах.

Про первого хрипуновская мама что-то слышала в школе — но забыла. И не вспомнила бы, если б хрипуновский папа в одно прекрасное утро не взвесил мрачным взглядом неподъемное женино пузо, чреватое будущим наследником, и не пошел в завком — орать и бить кулаком по растрескавшейся полировке крепкого начальственного стола. Завком дрогнул под натиском дистиллированной пролетарской ярости и через месяц одарил ожидающую приплода чету ордером на двухкомнатную темную конуру на первом этаже облезлого дома — купеческой еще, стародавней, окраинной постройки. Именовалось все это великолепиие: ул. Дружбы, д. 39, кв. 12.

До Хрипуновых в квартире проживали евреи, вполне советские, мирные, ручные — в микрорайоне ими даже гордились, как местной достопримечательностью, потому как никакой другой экзотики поблизости сыскать было нельзя — а евреи вот они, они всегда под рукой. Местная урла евреев не обижала, но пару раз в месяц аккуратно била им все окна. Не по злобе, а потому что на звездный звон и хруст

медленно падающих в ночь стекольных пластов выскакивало из освещенного розового нутра квартиры сразу все еврейское семейство, включая полоумную старуху Марию Исааковну, лет пятьдесят преподававшую в местной СОШ № 5 русскую литературу. И в этом ломком звоне и хрусте, в этих гортанных выкриках, в этом внезапном появлении из света в глухую, лопочущую листвою темноту было столько волшебного, завораживающего, почти театрального, что урла потрясенно замирала в ближайших кустах, ощущая, как сладко и томительно сосет под ложечкой странная, вращающаяся пустота.

Потом бархатный занавес медленно опускался, обдав зрителей тяжелым пыльным вздохом, и урла, слегка стесняясь пережитого катарсиса, вылезала из кустов и враскачку шла к волшебной квартире — цыкать зубом и принимать от профессионально глухой и профессионально же приветливой Марии Исааковны дежурный стаканчик — мутненький, граненый, в мирное время простодушно служивший еврейскому семейству пристанищем для детских цветных карандашей.

Как же, Марисакна, спасибочки, все помню — “жы” пиши с буквой “ы”, “чу” пиши и все такое. И не говорите — скока развелось кругом хулиганья! А Костик-то? Не, все сидит, да... Он бы живо их, того... Ну, в смысле... чё, сёдни будем вставлять или до завтра переможетесь?

Зимой, заметьте, стекла не били никогда. Понимали. Деликатно терпели до весны — одинокие, угрюмые, низкорослые, тоскующие без единствен-

ного в мире по-настоящему прекрасного чуда. Алкали душой. Жаждали. Ждали.

Пока не дождались суетливого исхода, деревянных ящичков, чемоданов, неопрятных узлов, которые всё выносили и выносили из подъезда, как будто там, в квартире, был бесконечный морг, который потребовалось срочно освободить к ноябрьским праздникам. И не успела захлопнуться за евреями государственная граница, как в брошенное жилище въехали Хрипуновы.

Квартира, манившая своим кукольным застельным уютом всю местную шпану, лежала, вскрытая, как разоренный курган, жалко выставившая на всеобщий обзор вспоротое брюхо и предсмертно перемешанные культурные слои. Рассохшиеся доисторические резинки, стискивавшие чьи-то выпуклые пахучие ляжки, очёски седых скрипучих волос, накрест схваченные бечевкой, пачки школьных тетрадей, молоток, еще столетие назад потерявший деревянную ручку, какие-то ломкие от старости облигации довоенного займа, изувеченные игрушки и даже не пожелавшая эмигрировать мельхиоровая ложечка, дальновидно шмыгнувшая под плинтус, откуда ее ловко извлек веселый грузчик, нанятый Хрипуновым заносить шкаф и буфет. Извлек и с профессиональной ловкостью уронил в карман, мимоходом вытирая о штаны пыльные пальцы: грязно оказалось у евреев, просто тихий ужас, настоящий свинарник, и видно, что не потому грязно, что укладывались, а потому, что сроду не убирались по-человечески. Ни разу за все свои шесть тысяч лет.

Хрипуновский папа мрачно матерился, надавая плечом, надсаживаясь, вставляя в простенок продавленный супружеский диван (когда-то красный, теперь просто потертый до цвета благородного бордо), на котором был в свое время зачат по пьяному шалому делу маленький Хрипунов, на который маленький же Хрипунов перебрался, когда перерос свою детскую зарешеченную кроватку, и на котором — спустя энное количество лет — хрипуновскому папе предстояло умереть. От цирроза, разумеется. А от чего еще умирают простые русские люди?

Всех глухо злила эта годами пластовавшаяся грязь, эта изнанка чужой, неинтересной жизни — и хрипуновского папу, и грузчика, и хрипуновскую старенькую мебель, не желавшую втискиваться в непривычное пространство, пропитанное ароматами неопрятной старости и просроченных специй. Даже маленький Хрипунов изнутри толкал негодующей ногой красную, до звона натянутую стенку матки.

И только хрипуновская мама, придерживая двумя руками тугое, выпуклое, байковое пузо, бродила среди осиротевших вещей с плывущим от умиления лицом и изумленно тарасилась выпученным пупком то на выпотрошенную, зияющую малиново-бархатным нутром готовальню, то на валяющуюся на полу детгизовскую книжку, вполне крепенькую, лишь чуть, самую малость, потрепанную по обшлагам.

“Аркадий Гайдар, «Голубая чашка»” — она не спешила проехалась взглядом по названию, непроизвольно пришептывая (как будто помогая себе читать)